

Г. КРЕМЛЕВ

**МЕЛЬНИЦА
В ЛЕСУ**

ОЧЕРК

**„ЗЛАТОУСТ“
РУССКОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МЮНХЕН**

1 9 4 7

Г. КРЕМЛЕВ

МЕЛЬНИЦА В ЛЕСУ

ОЧЕРК

„ЗЛАТОУСТ“

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МЮНХЕН

1 9 4 7

Мельница в лесу

1.

В конце 1929 года, в непроглядную осеннюю ночь, я тащился на крестьянской телеге грязным, ухабистым, уральским „волоком“ в одну из бесчисленных деревень, разбросанных по глухим лесным просторам.

Несмотря на девятнадцать лет, я был обременен чрезвычайными полномочиями и в кармане у меня лежал документ от районного исполнительного комитета свидетельствующий, что „предъявитель сего является уполномоченным по проведению хлебозаготовок, сенозаготовок, реализации государственного займа и других хозяйственно - политических кампаний.“ Моего возницу, маленького, но проворного мужичка с седой бородой, в сермяжной „лопотине“, в треухе и обшитых холстом рукавицах, очевидно не охватывало почтение к столь высокому седоку и он болтал со мной с той задушевностью и простотой, на которую способен только русский. За долгую дорогу я узнал, что он три года назад овдовел, что его старуха „принесла“ ему трех сыновей и двух дочерей, что одного сына он женил и выделил, обеих дочерей замуж выдал и

вот теперь живет с двумя сыновьями „без бабьего надзору, без Богородицына призору“.

— И таково, сынок, без бабы в доме худо, — сказать не сумею. Когда старуха была, — царство ей небесное, — бывало, сварились мы частенько. И говорила она: „Погоди, старик, возьмет Бог мою душу, — вспомняешь добрым словом!...“ Правду старая говорила! Вспоминаю, ох как вспоминаю, потому в доме без бабы, сынок, что телега без лошади: воз наложишь, а везти некому. Вот и сыновья — один к одному, гору своротят и по камушку перенесут, а шей сварить, али рубаху залатать, несподручные...

В сплошной темноте мы медленно подвигались вперед и, когда возница замолкал, слышно было только, как поскрипывает телега в ухабах, да сердито фыркает уставшая лошадаенка.

— Долго-ли еще ехать, отец? — спросил я моего кучера.

— Да верст пяток с гаком. Вот мельницу проедем, там поле пойдет, через то поле в Медведевку три версты. До мельницы доедем скоренько, а там пустят или нет дальше — не скажу.

— Кто же не пустит?

— А мельник не пустит, Федор Платоныч.

— Почему он не пустит?

— Такой у него обычай заведен: ночью не пускает никого через мельницу. Тебя может пустит, как ты от исполкома.

— Да как-же он не пускает?

— А так не пускает. Ворота у него сделаны, днем открыты, а на ночь запирает. Подъедешь к воротам, он лошадаь возьмет за узду, да и заводит во двор, а тебя — за ворот да в избу...

— Что-ж он грабитель что-ли?

— Хе, хе! Грабитель — земножитель... Ежели ночью, сынок, спешишь куда, лучше мимо мельни-

пы не ездят. Тут ночью проезда нет! Да вон и мельница, видишь — огоньки?

Признаться, мне стало немного жутко. Зловещая темная ночь, громадный немой лес, осенняя распутица и таинственная мельница, хозяин которой ночами хватается проезжих... Жутко и интересно. Живых разбойников я еще не видал, хотя слышал много рассказов о них и читал разных, страшных историй“.

— Ого-го-го! Федор Платоныч! — крикнул возница и осадил лошадь, грудью наехавшую на деревянный плетень. Было слышно, как скрипнула калитка около дома и густой мягкий голос спросил:

— Кого Бог несет?

— Это я, Кузьма Бурмышев из Тетерина.

— Э, Кузьма Иванович! Давно тебя не видал! Куда это ты на ночь глядя? Сейчас фонарь принесу... На минуту все стихло и было слышно лишь, как вода бурлит и плещется неподалеку. Вскоре от дома отделились яркая огненная точка и, колеблясь, направилась к нам.

— Здравствуй, Кузьма Иванович! — сказала высокая фигура, державшая в руке фонарь — Заводи лошадь да иди в избу обогреться.

— Да, вот, не знаю, Федор Платоныч: сынка тут одного из исполкома в Медведевку везу, может ему спешно надо...

— Не пушу, все равно не пушу! — заявила фигура: — Какой добрый человек в такую ночь поволоку таскаться станет? Переночуете, закусите, а завтра с Богом дальше.

Луч фонаря направился на меня.

— Простите не знаю имени отчества, у меня такой обычай: кто здесь едет ночью, — должен быть моим гостем, нашего хлеба - соли отведать. Согласны?

— Право не знаю, я должен спешить, — нерешительно произнес я.

— Пустяки, поспешишь — людей насмешишь. Наверное сами в школе писали не раз эту фразу, как упражнение. И еще такую: „Отрежьте хлеба, намажьте маслом, посыпьте солью и ешьте.“ Ведь писали?

— Писал, — усмехнулся я.

— Ну вот видите! Я то же когда-то писал... Давайте-ка заворачивайте во двор да до утра, до свету в тепле переночуйте. А потом и дальше в путь...

Было что-то удивительно успокаивающее в этом густом голосе. С первых-же слов „грабителя“ я забыл свой страх и с любопытством ожидал продолжения ночного приключения.

При свете фонаря мы поднялись по лестнице в большой дом. В просторной кухне, служившей обитателям и столовой, ярко горела висючая лампа над большим столом. В железной печи весело трещали дрова, создавая домашний уют и тепло. Большой шкаф с посудой, несколько олеографий на стенах, белые занавески на окнах, иконы в углу. Ничего лишнего, но все чисто, опрятно. Пахнет квасом и медом.

— Ну-с, раздевайтесь и будьте, как дома, — пригласил хозяин. Сам он тоже снял пальто и шапку. При свете я впервые разглядел мельника. Это был настоящий русский красавец-богатырь. Кудрявые русые волосы, большие серые глаза под черными бровями, густые усы и румянец во всю щеку; высокий и стройный, с плечами в косую сажень. Такие люди обычно чувствуют некоторую неловкость, бывают неуклюжи, всегда опасаются что-нибудь задеть и разбить. Но мельник ходил легко, держался свободно и просто.

— Вот теперь можно и познакомиться: Кузнецов, — представился он, протягивая руку. Я отрекомендовался.

— Ну, извините, пойду-жену позову: надо вам что-нибудь с дороги и закусить. Через несколько минут Кузнецов возвратился в сопровождении жены. Это была тоже красавица, с какой Некрасов писал своих «русских женщин»:

Их разве слепой не заметит,

А зрячий о них говорит:

«Пройдет — словно солнце осветит,

Посмотрит — рублем подарит».

Коротко поздоровавшись с нами, она сразу принялась за хозяйство, действуя споро, уверенно и легко, как и сам хозяин. Действительно, пара была хоть куда!... Для художника, желающего писать семью богатырей, лучших натурщиков не нужно было искать.

На столе быстро очутились маринованные грибы, капуста, огурцы, кусок ветчины и хлеб. Кузнецов принес три рюмки и бутылку водки.

Как полагается — с холодку! — заявил он, широко улыбаясь белозубым ртом. — Надеюсь не откажетесь? Сначала закусим, а потом перекусим...

И грибы, и капуста, и огурцы — все было домашнего приготовления, с тем особым вкусом и запахом, который свойственен умелым хозяйкам и составляет «секрет фирмы». Тарелки, ножи и вилки были просты, но чисты и остры. Однако мой кучер от прибора отказался.

— Ты мне, Мария Федоровна, лучше ложечку дай, да побольше, а с этим струментом я непривычный, — сказал он. — Когда у меня струха была жива, она раз на базаре тоже вилку купила. Для тебя, говорит, — старик, как ты должен с вилкой кушать! Посмеялся я над ней, царство ей не-

бесное, да так та вилка и лежала у нас годов десять, пока сын из нее шило не сделал...

— А ты все еще не забыл свою жену? — спросила хозяйка.

— Невозможно, Мария Федоровна, невозможно! Без бабы, как телега без кобылы... Дня того не проходит, чтобы не вспомнил. Щи сварить, али рубаху залатать, — везде баба самонужнейшая вещь...

— А ты бы поискал, Кузьма Иванович, может новую — молодую — найдешь!

— А ей - Богу женился бы! Вот найду такую, как ты, и женюсь!...

— А вы еще не женаты? — осторожно спросил меня Кузнецов.

— Нет еще... — я почему-то покраснел.

— Я потому спросил, что теперь пошла мода жениться в молодых годах. Парню девятнадцать-двадцать лет, а он уже женится. Думаю, что счастья в такой женитьбе немного будет... Вы мне простите мое любопытство, но я хочу вас спросить кой о чем. Видите ли, врага всегда надо знать...

— Врага? — удивился я. — Почему же врага?

— Очень просто: вы—уполномоченный райисполкома, стало быть мой враг... Вернее—я ваш враг. Ведь я, как сейчас говорят, кулак. Мельница, пасека, шестьдесят десятин заливных лугов... Кулак! По всем установкам вы должны бороться со мной. Чувствую, что скоро моя песенка будет спета. С сильным не борись... Знаете?

— За что же нам бороться?—спросил я.

— Из-за власти, из-за силы. Я газеты - то внимательно читаю и вижу, куда все идет. Имел глупость учиться и на кого? На юриста! Увидел, что закон отменяется и бросил это пустое занятие.

— Как это—закон отменяется?

— А вот так: был закон охраняющий личность, собственность, государственные и частные интересы. А теперь он отменен. Личность—ничто, собственность—пустой звук. Сегодня у меня дом, мельница, пчелы, а завтра ничего нет.

— Почему же—ничего нет?

— Все возьмут! И не только у меня, но и у всех. Понимаете, что такое коллективизация? Это такая штука, от которой мужик плакать будет!..

— Почему плакать? Это строго добровольно и если беднейшие крестьяне объединятся, то получат только выгоду.

— Теоретически, мой дорогой! Вот вы едете хлебозаготовки проводить. Попробуйте добровольно у мужика хлеб взять. Не даст, ни за что не даст. И это хлеб, продукт его труда. А возьмите средства труда,—это будет уже взять невозможно. Это можно только отобрать силой, ограбить мужика....

— Да, Федор Платоныч,—перебил наш разговор мой ямщик,—когда мы с сынком к мельнице подъезжали, я про тебя рассказал, как ты проехать не пушаешь. А сынок спрашивает: «Что он—грабитель?».

— Грабитель,—засмеялся Кузнецов.—Кулак-грабитель, как пишут сейчас ваши газеты.

— По вашему выходит, что я—грабитель, если еду хлеб брать у крестьян,—рассмеялся и я.

— Ну да! Но нашему—вы грабитель, по вашему—я грабитель. Видете, значит мы—враги!...

— Хватит уже политики,—давайте медвежатинки покушайте,—сказала хозяйка, устанавливая на стол громадную сковороду с шипящим мясом.

— Ого! Снова медведя приколот? — спросил мой кучер.

— Приколол, еще свеженький...

— Это, верно, вы медведя убили?—полюбопытствовал я.

— Да, был грех... Я ведь без оружия, по-старинке, с рогатиной. По - кулачки, так сказать... Будьте осторожны со мной, иначе могу и прикончить! Так ведь по газетному описанию классовые враги действуют? Нож, обрез, дубина и прочие подобные инструменты...

Кузнецов шутил, но было видно, что внутренне ему не до смеха. Большие серые глаза смотрели грустно и улыбался он только одним ртом.

Медвежати́на была великолепная. Мы аппетитно поужинали, потолковали о разных новостях и пошли спать. Ямщик мой устроился в кухне— «поближе к своей Сивке - бурке»—как он объяснил, а меня хозяин провел наверх в большую комнату, тоже ярко освещенную лампой—«молнией»

За столом сидел седой крепкий старик и читал книгу.

— Мой отец,—рекомендовал Кузнецов.

Старик снял очки и долго разглядывал меня, поводя бровями.

— Вы как-же, коммунист?—спросил он меня.

— Нет, комсомолец.

— Значит, отречемся от старого мира и пролетарии всех стран соединяйтесь?

— Если хотите, да.

— А Маркса читали?

— Нет, еще не успел.

— А я, вот читаю,—хлопнул он по книге,—и вижу, что это опытный немецкий закройщик, бухгалтер и честолоб. Учит, как нужно по - научному шить кафтаны. И вот по его рецепту наши неумелые подмастерья кроят немецкий кафтан русскому Ивану. Кстати, мой батюшка носил это русское имя; так что я—Иванович.

— Значит Маркса вы не одобряете?

— До половины книги дошел,—не одобряю! Что во второй половине,—не знаю. Одно понимаю: все эти немецкие Ницше, Гегели, Фейербахи—не для нас. Скажу наоборот: что немцу здорово, то русскому смерть. Я, молодой человек, с немцами воевал и знаю, что это за народ. Ейн, цвай, драй!... Дисциплина, точность, а души нет. Есть заменитель души,—какой-то эрзац, да и тот можно на миллиметры измерить. Немец свой лес по дереву, по сучку считает, а посмотрите на наши леса, кто их сочтет—умножит? У немца ступить некуда, а у нас экая широта—благодать! Есть, славу Богу, где развернуться—размахнуться!... Ничего нам кроме воли не надо. Волюшку, свободу, простор надо нашим людям дать,—и образование, конечно,—а там пойдет наш мужик так шагать, что никто не догонит. А в немецком кафтане, сшитом по марксовой мерке, наш мужик задохнется. Вот помяните мое слово!

— Партия намечает очень широкую программу индустриализации страны. Разве это плохо? И образование, о необходимости которого вы заметили, также будет осуществленно.

—Знаю, знаю! И Ленина читал, и с Троцким пришлось познакомиться, и за всей этой партийной заварухой следил. Бухарина и Томского местами даже одобряю. Но приведу вам один пример. Мы, видите ли, на мельнице привыкли так действовать: наверху зерно засыпаем, а внизу муку собираем. Здесь же—мешки под муку поставили, а зерно не засыпали и ожидают, что мука пойдет...

—Не пойму вашего сравнения.

—Потом поймете!.. Знаете, что такое бус? Это мучная пыль, мельчайшие частички хлеба, перемешанные с пылью каменных жерновов. Бус ложится повсюду на мельнице. Его можно собирать и даже есть, но каменная пыль вредна для желудка. И вот

этот бус будет собирать .ваша государственная мельница и выдавать за чистый хлеб.

— Может быть, вы ошибаетесь и не дооцениваете нового эксперимента?..

— Ах, Боже мой! — старик сердито зашевелил усами и поднялся из кресла. Когда он встал, я заметил, что он еще выше сына. Это был тоже богатырь, но богатырь в старости, в сединах. — Эксперименты, эксперименты!... Эксперименты производятся в лабораториях с кроликами, морскими свинками, собаками! — А эксперимент со ста пятьюдесятью миллионами людей — преступление! Да-с, преступление!...

— Да что же вы предлагаете? — по молодому взбурлился и я, — какую программу вы можете выдвинуть?

— А такую программу, которая признана всем миром, которой народы следуют тысячелетия. Та программа, которую практически нужно развивать и совершенствовать...

— Самодержавие, царь? — спросил я саркастически.

— Нет-с, молодой человек, ошибаетесь! Христианство! Только христианство! Вместо того, чтобы экспериментировать с какими-то утопическими теориями, возьмите и практически осуществите христианское учение. Научите людей понимать христианство и выполнять заветы Христа и не нужно будет никаких социализмов, никакой классовой борьбы, никаких «пролетарии, соединяйтесь!»! Один из вечный закон, единственный лозунг человечества — это «возлюби ближнего, как самого себя». Не ненависть, не борьба, а любовь, — вот истинный двигатель человечества! Вы заменяете проповедь любви проповедью ненависти, от человеческого вы призываете к звериному. На основании учения Дарвина и Павлова, экспериментировавших и наблю-

давших над животными, вы хотите управлять человеком, созданным по образу и подобию Божьему. Это гнусно!..

— Ваши выводы, мне кажется, ошибочны. В центре социалистического учения стоит именно человек.

— Да, как подопытный кролик! Чехов сказал как-то, что если зайца бить, то можно научить спички зажигать. Никогда наш великий писатель не думал, что его юмористическое изречение какие-то фанатики возьмут за основу человеческого общения!..

— Да кто-же кого бьет?

— А как же? Сейчас пока бьют больше морально да в тюрьму сажают, но я предчувствую, что скоро начнут физически избивать. Нужно внушить народу страх! Без этого чувства народ не потянет колесницу вашей «новой истории». Страх будет довлеть над всем...

— Ваши прогнозы действительно страшны...

— Ну, будет тебе, отец, молодого человека перед сном пугать, — сказал сын, молча слушавший нашу беседу, задумчиво пуская струйки папиросного дыла. — Приснится ему еще что-нибудь, а то и совсем спать не будет...

— Нет, почему же, очень интересно, — отозвался я, — только не пойму, почему вы против всего нового. Ведь Петр Великий свои исторические реформы осуществлял жестоко и беспощадно. Была же и тогда борьба. Борьба была и будет против всякого прогрессивного движения.

— Ах, молодой человек! Петр Великий был русский, он тоже заставлял немецкие кафтаны надевать и бороды брить, но он душу не трогал, русскую душу, какая и у него самого была! В этом-то и вся разница. А теперь хотят русскому чужую душу вставить...

— Довольно, довольно, — снова перебил сын.
— Давайте спать. Можете завтра вашу полемику продолжать.

— И то правда, — согласился старик. — Все равно нам не убедить друг друга: вечная проблема — отцы и дети... Спокойной ночи!

— Вот вам постель, — сказал Кузнецов — младший, указывая на широкую софу, аккуратно застланную бельем и одеялом. — Надеюсь, не замерзнете. Потушите лампу, как ляжете. Спокойной ночи!..

Я остался один и с удовольствием осмотрел ещё раз комнату. На стенах висели хорошие копии знаменитых картин, рога и медвежьи шкуры. Медвежьи же шкуры лежали и на полу, покрытом фиолеумом. Большие часы редко и уверенно отщелкивали ход времени, отбивая четверти густым и долгозвучным звоном. На маленьком столике в углу стоял большой стеклянный сосуд, герметически запаянный. В нем лежала крупная медовая сота. Я долго ломал себе голову, как ухитрились поместить эту соту в стекло.

Дом был деревянный, без штукатурки внутри, но стены были отделаны ровно и чисто. Бревна, из которых дом строился, были очевидно такими-же великанами среди своих лесных братьев, как оба Кузнецовы среди обычных людей. Особенно меня поразила балка, проходившая через весь потолок: дерево видимо было не менее, чем в три обхвата. Вся постройка показывала, что хозяева — прочные, спокойные, миролюбивые люди и дом строили с расчетом на долговечность и удобство. Такой дом было редко встретить даже у самых зажиточных крестьян.

Когда лампа была потушена, я заметил в окно, что кто-то с фонарем в руке направился в ту сторону, откуда слышался шум воды. Это Кузнецов

младший пошел на мельницу. Его рабочий день начинался еще ночью.

Проснулся я довольно поздно. Меня ожидал обильный и вкусный завтрак. Лошадь была уже запряжена. Старый мельник уехал в соседнее село. Так же радушно угощала красавица хозяйка, так же внимательно-приветлив был хозяин.

— Хочу с вами договор заключить, — сказал Кузнецов, — воспользоваться вашим посещением. Я, видите ли, не привык лгать и кривляться. Свое мнение о происходящем я уже вам вчера высказал. Предчувствие говорит мне, что скоро придется расставаться со всем, что нажито долгими годами труда. Я мог бы остаться в Петербурге, получить службу и жить неплохо, но тянет эта лесная глухомань, родные медвежьи углы, и ничего я не хочу от людей, кроме покоя и свободы. Я хотел уже сам отдать обществу свою мельницу, бросить дом и хозяйство и превратиться в пролетария. Знаю, что так было бы спокойнее, но семья, отец... Ведь у меня сын и дочь. Они учатся в Перми, живут у родственников. Отец и жена против моего плана. Они еще на что-то надеются, ожидают, что все будет хорошо. А я не верю в возможность мирного существования. Новая экономическая политика была необходима, пока страна находилась в разрухе. Теперь этому конец, начало крупного поворота, действия силы, осуществления диктатуры. Прошу вас об одном: с меня потребуют хлеб, деньги, сено, мед и еще что, — не знаю; говорите мне прямо и откровенно, что от меня требуют, и я все отдам! Не ведите против меня разных интриг, подлогов, хитростей, употребляемых сейчас в так называемой «классовой борьбе»! Вы понимаете меня? Не хочу злобиться, выкручиваться, подличать... Я все отдам, лишь бы сохранить покой моей семьи, мой родной дом, чтобы выучить и воспитать детей! Другого

желания у меня нет. Если потребуют мельницу сдать, — сдам в полной сохранности.

— Вы очень мрачно смотрите на свое будущее, — заметил я. — Уверяю, у меня нет никаких указаний относительно вас. Не понимаю, почему вы думаете, что с вас хлеб потребуют? Ведь вы же не сеете? Гарнцевый сбор, надеюсь, вы сдаете исправно?

— Гарнцевый сбор — пустяки. Хлеб с меня потребуют...

— Почему?

— Своя рубашка ближе к телу. Не захотят свой хлеб отдавать мужики, и меня обложат «твердым заданием».

— А вы сможете внести?

— Смогу пудов сотню. Придется купить у тех-же, кто будет настаивать на моем обложении. Заплачу в три раза дороже против государственной приемной цены, но что же делать?

— Хорошо. Обещаю вам действовать открыто. Я буду вызывать вас и сообщать о новых инструкциях.

— Вот, вот, этого я только и желаю. Увидите, что так будет лучше!..

Я распрощался с любезными хозяевами и снова пустился в путь. Когда мы проезжали плотину, мой возница начал рассказывать:

— Вот, сынок, мельница! Четыре постова, жернова—удивление, мука—крупчатка!.. Дед Федора Платоныча ставил еще эту мельницу. Со всех деревень сюда хлеб везут. Дороги-то, видишь, какие? Федор Платоныч мужиков созвал и определил дороги подвозные устроить. Сам работал, и отец работал, мужикам и деньги платил и хлебом, али сеном рассчитывал. И теперь—заглядение! Всю бы жизнь по таким дорогам ездил!..

Действительно, в разные стороны от мельницы расходились прекрасные, хорошо утрамбованные дороги, которым не вредила осенняя распутица. Десятки тяжело нагруженных крестьянских подвод стояли около мельницы, ожидая очереди на помол. Шум жерновов, плеск воды, фыркание лошадей и крики мужиков сливались в стройный гул напряженного труда. Чувствовалось, что мельница — большой центр крестьянской округи.

— Заботливый мужик Федор Платоныч, — продолжал возница, — много страдает о хрестьянстве. Весь в деда и в отца. Платон — то Иваныч годов шесть, как от делов отошел, однако помогает сыну, старик, что дуб крепкий.

— А не обижают они крестьян, не дерут шкуры?

— Что ты, сынок! Какая обида? К ним не за обидой, а за советом да за помощью едут. Я вот дочь замуж выдавал, к кому пошел? К Кузнецову! Надо приданое, надо гостей поить — кормить, а денег мало. Приехал к Федору Платонычу. Так и так, говорю, свадьбу играем, выручи. И ни слова, — сто рублей выложил!..

— А как платил?

— Да так платил: пять лет платил, да и теперь двенадцать рублей должен.

— И не поминает?

— Ни, ни! Да разве я один? Вся округа ему должна, всем он помогал, было время. Тысячи людям одолжал!

— И не просил отработывать?

— Зачем просить? Сами к нему идут, как покое настанет. Первое — угостит. Ну, харчи добрые, а потом и платит по-божески. Не с тебя копейку возьмет, а тебе передаст. Да все лаской, приветом, добрым словом. А то наш народ крепче денег уважает. Ну пройдет лето, осень. Будет год, когда

Господь Бог хлеб не уродит. Куда пойдешь? К Кузнецову. Не сеет он, не жнет, а хлебом выручит.

— Как же выручит?

— А вот как. Приведет на мельницу, да к богатому мужику: так и так, помоги ему хлебом, а не веришь ему, — я сам тут и тебе за все отвечаю... Тебе бы богатый может и не дал хлеба, а Кузнецову даст, потому доверие большое имеет Федор Платоныч.

— И нет на него недовольных?

— Как не быть! Есть такие люди, которые ни царем, ни Богом недовольны. Царя — долой, Бога — нет, сам себе и царь и Бог, и никто супротив меня не может мнения иметь. Что моя правая нога хочет, то и должно быть!.. Тенерь пошла такая молотьба, что который колос покрупней, тому первому и под цеп ложиться... Говорят, указ такой вышел, что мужики должны в одном доме всей деревней жить и всем с бабами под одним одеялом спать...

— Какая чепуха! — ответил я.

— Может и чепуха, да только все мужики про то болтают. Я у Федора Платоныча тоже спрашивал. Говорит: ерунда, но коней и коров будут в одно место сводить.

— Это верно.

— Ну, видишь! Так и у нас говорят: коров, лошадей, сохи, бороны — все сообща пользоваться. значит и насчет баб тоже будет...

— Да тебе-то что? — пошутил я, — ведь у тебя жены нету. Можешь получить новую...

— Над этим, сынок, не смейся, — сурово ответил мой кучер, — кому смех, кому слезы. Про баб может болтают сдуру, а ежели у мужика корову и лошадь возьмешь, — нету больше мужика, нету хрестьянина. Нельзя без коня жить! Большую

обиду можно сделать, ежели лошадь взять. Земля да конь, — за них в огонь...

Подтверждение слухов, бродящих по деревням, так беспокоило моего ямщика, что он замолчал и только изредка сердито покрикивал на свою „Сивку-бурку“.

Вскоре показалась и Медведевка, большая деревня, где мне предстояло проводить хлебозаготовки.

2.

Бедняцкое собрание в те годы в деревне служило высшей инстанцией, решавшей почти безапелляционно все вопросы государственной политики на селе. Крестьяне не везут хлеб добровольно, так как это невыгодно. Но хлеб нужно взять. Правительство назначало общую цифру поставок. Эта цифра разбивалась на области, округа, районы и сельсоветы. Сельсоветы разбивали задания на отдельные деревни. Собрание бедноты решало, кто и сколько должен сдать хлеба, исходя из общей цифры. Существовало правило: устанавливать задание по посевной площади. Однако это правило сплошь и рядом нарушалось. Крестьянин, засевавший десять десятин, иногда должен был сдавать хлеба больше, чем тот, кто засекает пятнадцать десятин. Бедняцкое собрание устанавливало скидки на семью, на неурожай, на скот, учитывало старые запасы, зажиточность двора. Много зависело от умения подкупить бедняцких главварей. Некоторые хитрые мужички во время «кампаний» целыми неделями спаивали падких на даровое угощение заправил бедняцкого собрания и получали скидки. Большую роль играли родственные связи. Нередко случалось, что прямые хозяйственные мужики, резавшие правду - матку в глаза

и нелюбимые бедняцким слоем деревни, получали такие «твердые» задания, что не в состоянии были их выполнить. Мне не раз приходилось встречаться с подобными случаями, но бороться с бедняцким собранием было трудно: установки классовой борьбы допускали лишь увеличение заданий зажиточным крестьянам, но отнюдь не снижение. Хлебозаготовки, в сущности, были началом ломки всех устоев деревни, началом уничтожения того слоя крестьянства, на котором держалась вся Россия.

Невыполнение задания расценивалось, как преступление перед государством. Крепким хозяйствам давались заведомо невыполнимые нормы или сроки сдачи хлеба. Затем следовала опись имущества, суд, распродажа добра, ссылка крестьянина. Государство получало хлеб и обезглавливало зажиточные слои, способные к наибольшему сопротивлению готовящейся коллективизации. Судьба состоятельных крестьян была заранее предрешена: если они рассчитывались с хлебным налогом, то должны были попасть в тиски с заготовками сена, мяса, с «твердым» заданием по займам, так широко рекламировавшимся, как добровольные.

Займы для мужика были хуже горькой редьки. Деньги еще были в цене. Продать свободно свои продукты мужик не имел права, так как обязательные поставки государству уносили все плоды его труда. Денег за эти поставки крестьяне получали от государства очень мало, и часто сумма „займаналога» превышала возможность тощего мужицкого бюджета. Да ведь кроме того нужно было еще и прямые налоги платить! Поэтому каждый новый заем встречался крестьянами с озлоблением.

Все правительства стремятся повысить благосостояние своих земледельцев, помочь беднейшим подняться до уровня зажиточных. Советское правительство поступило иначе: оно срезало зажи-

точные хозяйства до уровня неимущих, чтобы подготовить массовый деревенский пролетариат, как рабочую силу для государственной промышленности и государственных сельскохозяйственных предприятий, которыми и стали впоследствии колхозы. Это была адски хитрая, мысль расколоть единение крестьян, натравить их друг на друга, разбудить чувство зависти, мести, забытой вражды, мелкого честолюбия... Старая заповедь маккиавеллизма: разделяй и властвуй!

Беднота не понимала смысла происходящих событий. Основная ее часть, под действием повседневной агитации, слепо поверила щедрым на посулы большевикам и также слепо выполняла все распоряжения в надежде получить личную выгоду; другая часть, трудившаяся для достижения зажиточной жизни, видела, что здесь что-то неладно, что рушится как раз то, к чему она стремилась, для чего упорно работала. Эти крестьяне не поддерживали политики правительства и были против разорения зажиточной части. С ними поступали просто: врагом, кулаком, та~~ких~~ нельзя объявить, но можно заклеить позорной кличкой «подкулачник», «помощник классового врага» и тем нейтрализовать сопротивление ломке деревенских устоев. Особенно упорных «подкулачников», состояние которых не поддавалось никаким конфискациям, подводили под различные статьи закона, судили и ссылали. Всякие попытки сопротивления пресекались быстро и беспощадно. Разделение деревни на пять категорий: батраки, бедняки, середняки, зажиточные и кулаки—устраняло возможность объединения интересов крестьянства и исключало восстания, так как зажиточно - кулацкая часть всегда была незначительна, а батраки, бедняки и середняки составляли подавляющее большинство, привлекавшееся на

сторону правительства обещаниями всеобщей зажиточной жизни.

Бедняцкие собрания обычно проходили в избе одного из бедняков. Их решения должны были быть тайной, но наутро уже вся деревня знала о том, сколько «наложили» на Ивана Митрича и на Луку Семеныча. У каждого зажиточного были свои знакомые в бедняцком собрании, сразу же после заседания сообщавшие результаты.

В избе бедняка Пронина, тесной халупе в одну комнату, половину которой занимала печь, собиралась беднота. В переднем углу на столе горела пятилинейная мигалка, еле освещающая темные образа, закоптелые стены, на которых висело несколько армяков из домотканого материала, хомут, шлея, чересседельник и кнут. Присутствие сбруи показывало, что хозяин является обладателем лошади и по советской градации стоит где-то между бедняком и середняком; большинство бедняков лошадей не имело.

Сам хозяин встречал подходивших гостей, неизменно отвечая на приветствия добрым баском:

— Будьте здоровы, милости просим!...

Хозяйка и дети, „чтобы не болтались под ногами“, были отправлены на полати, и оттуда блестяло несколько пар шустрых любопытных глаз и свешивались белокурые головенки. Дверь в избу, как и в большинстве крестьянских дворов, была низка, а порог высок, чтобы тепло под дверь не вытягивало. Мужики заходили в избу низко пригнувшись, чтобы не стукнуться головой. Прохор Кучин, высокий и худой мужчина средних лет, хотя было и пригнулся, но не рассчитал и трахнулся лбом о притолоку так, что шапка слетела. Все дружно рассмеялись.

— Ах ты, прах тебя побери!—смеялся и сам Кучин, отыскивая в сенях упавший трюх,—какое

непочтение к гостю: не успел порог переступить, а его по лбу вдарили!..

— А кто-ж виноват, что ты вместо телеграфного столба можешь быть употреблен?—смеялись над потерпевшим присутствовавшие.—Тебе, Прохор, должно операцию сделать: или ноги по коленки отпилить, или голову отрезать...

— Нет, граждане, голову резать невозможно, —отшучивался Кучин,—куды-ж я тогда шапку надевать стану?..

Из опасения, как бы снова не получить удар, он чуть ни на четвереньках пролез в избу, держа в руках свой треух.

— Ну, бывайте здоровы!..

Но не успел он встать во весь рост, как ойкнул и опять присел: выпрямляясь, он снова стукнулся головой о полати..

Хохот потряс избу. Кучин, согнувшись в три погибели, добрался до скамейки и сел, почесывая ушибы.

— Кабы один раз по хребту, другой по заду, оно было бы легче,—острили мужики,—а то все по маковке, по самому умному месту...

Понемногу изба наполнялась и людьми и густым дымом самосада. Старики попыхивали трубками, а помоложе вертели из газетной бумаги громадные, в палец толщиной, «цыгарки», или длинные загнутые «козьи ножки». Передавали друг другу кисеты с бесхитростно вышитыми петухами, цветочками или с полными значения надписями, вроде „кого люблю, тому дарю», «закуришь вспомнянешь».

— Начинать что-ли?—спросил меня Степан Терехин, парень лет двадцати восьми с редкими корявинами на широком, хитром лице, с чубом темных кудрявых волос.—Больше пожалуй не соберутся...

Он считался главарем бедняцкого собрания. Пожилые семейные мужики, старались всячески избежать «командных высот», не желали брать ответственности за решения бедняцкого собрания и охотно передавали инициативу молодым. Терехина рекомендовали так: «Парень ничего, понаторел в городе, разные слова понимает и может соответствовать». Мне он не понравился: самоуверен, хвастлив, глаза наглые, держится вызывающе. Стороной слышал я, что Терехин много пьет, выгнал из дому жену с ребенком, работать не желает, а занимается какими-то темными делами и деньга у него водится. Во время нашей первой встречи, он покровительственно подмигнул мне и конфиденциально сообщил:

— Значит будем совместно действовать? Я здесь тоже выполняю, можно сказать, задание... Можно сказать, тружусь на благо и тому прочее...

И наклонясь к уху добавил совсем тихо:

— Товарища Носова знаете?

— Знаю, а в чем дело?—ответил я.

— А так... вообще, чтобы у вас никаких сомнений не было...

Носов был начальником районного отделения ГПУ.

Собрание бедноты началось. Как всегда водится, Терехин предложил избрать председателя и секретаря.

— А ты и будь председателем,—сказало несколько человек.

— Поступило предложение, чтобы я, можно сказать, был председателем, — быстро согласился Терехин.—Кто за меня прошу поднять руки. Кто против? Нет, избран единогласно!

Секретарем избрали Луку Перфильева, известного деревенского грамотея, через руки кото-

рого проходило все «общественное» нехитрое дело-производство.

— Как я, товарищи, можно сказать выбран председателем,—начал свою речь Терехин,—то скажу так: наша, можно сказать, советская власть, просит хлеба для рабочего классу, которого раньше в проклятое прошлое эс...иск... эксплуатировали, можно сказать, капиталисты и тому прочие сволочи... Также надо дать рабочему классу сено, то есть не то, чтобы для шамовки самому рабочему классу, а лошадям, которые трудятся на благо мировой революции...

— Для нужд красной армии,—вполголоса под-сказал я, чувствуя, что оратор не очень силен в точных формулировках.

— Да, как можно сказать, правильно подметил товарищ уполномоченный, сено надо не только для трудящихся лошадей, но и для нашей, можно сказать, доблестной красной армии... К тому же надо обложить наших мужиков и добровольным займом, который, можно сказать, пойдет в пролетарский карман нашего рабоче-крестьянского государства. Как мы есть—беднота, то, можно сказать, с нас взятки гладки. Поэтому надо нажать на кулацкую часть, взять их, сукиных детей, за жабры, чтобы не повадно было угнетать трудовой народ. Я кончил!..

Терехин отер со лба пот, выступивший от усиленного умственного напряжения, и сел, удовлетворенно улыбаясь. Его речь не произвела особого впечатления: за эти годы советская деревня видела всяких ораторов и уже никого не удивляло выражение „обложить добровольным займом“ и разные непонятные слова, служащие для украшения слога. Говорить по-русски ораторы разучились. Они брали пример с вышестоящих чиновников, подделываясь под их слог, украшая речи варвариз-

мами им самим непонятными, и в результате получалась потешная чепуха. Но публика была нетребовательна и в высокопарных лозунгах искала только практический смысл: сколько надо „наложить“ добровольного займа, сколько пудов хлеба надо «отдать» и т. п.

Поэтому, как только Терехин закончил свою речь, начались вопросы:

— А сколько хлеба надо?

— Сена сколько?

— Сколько займа наложено?

— Сейчас товарищ уполномоченный все вам скажет,— сообщил Терехин, жестом предлагая мне выступить.

Коротко изложив задачи, поставленные партией и правительством, я назвал цифры. Мужики молчали, подсчитывая в уме очередные жертвы. Когда я назвал цифру „добровольного“ займа, по избе пронесся вздох. Никаких аплодисментов не было... Любопытно заметить, что в деревне я вообще не слышал аплодисментов, так дружно рассыпаемых в центре и рекламируемых затем в газетах, как «дружные аплодисменты», «бурные аплодисменты, переходящие в овацию», «овация; все встают» и т. д. Деревня воспринимала все мероприятия просто и реально: налог есть налог, и нечего мозги крутить! Сила и солому ломит. Чему же тут аплодировать, если государство отбирает у тебя заработанные тяжелым трудом деньги, или хлеб, или сено?

Когда я объяснял условия займа, выгоды его мужику (так, как это диктовали из центра), крестьяне только сдержанно улыбались: они уже практически знали эти «выгоды», уносившие каждый год не менее четверти заработка. Попросту все именовали налогом: хлебный налог, мясной налог, сеной налог, займовый налог...

— Ну, граждане, чего молчите? Али не поняли? Может повторить? — спросил председатель.

— А что-ж повторять? Повторяй, не повторяй — платить все равно придется, — ответил за всех Прохор Кучин. — Кабы от повторения скостили любую половину, мы бы с нашим удовольствием до петухов слушали...

— А на Яжбахтино сколько наложили? — спросил хозяин избы Пронин.

Я сообщил цифры и по Яжбахтину.

— Маловато кажись, — оживились мужики. — Там крепких хозяев больше...

Я уже знал эту черту в крестьянине: он должен сначала обязательно узнать о своих соседях, и если потери соседа не меньше, чем его, то он легче переносит свои утраты. Знал я также и это наивно-хитрое желание уменьшить свои «налоги» за счет других. Поэтому я цифрами доказал, что задание соседям нисколько не ниже, чем их деревне.

Посудив с часок о том, о сем собрание приступило наконец к практическому «обложению». Здесь то и началась основная работа собрания, мужицкая дипломатия, борьба за своих подзащитных, стремление выгородить своих родственников. Это было близко и понятно. Государственные и областные масштабы — туман, ничего не видно. Округ и район — ближе, но тоже еще ничего не говорит. Задание на сельсовет и деревню — это уже реальность, а индивидуальные задания это сосед, родственник, одnodеревенец. И каждый старался помочь «своему» за счет «чужого». На трезвый взгляд помощь бедняцкого собрания государству была вовсе не помощью, но противодействием, борьбой с государством, в результате которой мужики понимали, что государство преследует цель разорения крестьянства, а не подъема деревни. Это

действительно так и было. Крестьянин засекает, скажем, восемь десятин земли. Урожай по определению районного земельного управления составляет сорок пудов с десятины. Стало быть, всего крестьянин получил триста двадцать пудов зерна. Семья пять душ. В среднем считали по пуду на человека в месяц. Надо оставить шестьдесят пудов; на скот, на птицу, на посев—тоже нужно выделить. А потери при обмолоте, хищения вредителей, разные невзгоды хозяйственной жизни, натурная плата за помол, за крестины, свадьбы, похороны?.. Да мало ли найдется расходов по крестьянскому двору? Чтобы купить косу, серп, топор, ухват, сковороду, ситцу на рубаху, гостинец детишкам—нужно продать хлеб. Государство платило за хлеб гроши. Этих денег не хватало даже на выплату налогов. Что же было делать мужику, если на него «накладывают» 200 — 250 пудов хлеба? Полный разор хозяйства, конец всем расчетам, крах надежды, бесплодность напряженной работы за весь многотрудный год!.. Выручали только запасы, сделанные за годы НЭП'а.

После НЭП'а, во время которой деревня вздохнула и залечила послевоенные раны, хлебозаготовки крепко ударили по крестьянину и сломили его. Несмотря на крикливую пропаганду и агитацию, обещавшую земной рай, мужик чувствовал приближение катастрофы. Но сил для борьбы не было. Государство крепко взнуздало деревню.

Бурное заседание бедняцкого собрания закончилось лишь под утро. Разверстка была закончена.

— Уж просим вас, товарищ уполномоченный, замолвите словечко, чтобы больше на нас ничего не накладывали, — просили меня крестьяне. — Эти налоги мы заплатим, а больше не выдюжим!...

Что мог я обещать? Что знал я сам и кто знал, какие планы намечались там, вверху?

Просьба крестьян не была безосновательной. Дело в том, что часто после выполнения плана сдачи продукции, поступали, так называемые, дополнительные задания, впоследствии получившие название «встречных планов». Если крестьяне быстро и честно выполняли свои «налоги», то высшие чиновники решали, что задания были низки и добавляли, в расчете угодить еще выше сидящим начальникам. Те, в свою очередь, рапортовали в Москву, откуда во все концы страны летели трескучие панегирики о подъеме среди крестьянского населения, о досрочном выполнении и перевыполнении планов, о доверии партии и правительству. Насильственное изъятие хлеба, сена, мяса, масла, шерсти, принудительная реализация займа выдавались за подъем политической активности крестьянства и должны были свидетельствовать поддержку политики партии. Далеко было красочным потемкинским деревням до этого грандиозного политического маскарада!..

Было бы неправильно представлять, что одним бедняцким собранием ограничивалось проведение «хозяйственно - политических кампаний». Осенью заканчивается хозяйственный год в деревне. На первый взгляд этого времени года достаточно, чтобы покончить все расчеты, взыскать с мужика все «налоги» и оставить его в покое до следующего года. Но это было не так.

«Налоги» следовали один за другим, собрания созывались чуть не ежедневно и районные уполномоченные сидели в деревнях почти круглый год. Пассивное сопротивление государству было настолько сильным, что требовались месяцы напряженной работы, чтобы выполнить планы заготовок. Как я уже говорил, за выполнением основных планов следовали дополнительные задания, затем шли заготовки масла, яиц, шерсти, льна, конопли,

меда, мяса, разверстки на посылку рабочей силы на различные строительства, на лесные заготовки и т. д. и т. п.

К весне начинали создавать различные семенные фонды, страховые фонды, задачей которых было установить государственный контроль над тощими крестьянскими остатками хлеба. Не нужно забывать так же, что бесчисленные советские так называемые «добровольные общества» вроде «Мопр» (Международная организация помощи борцам революции) «Осоавиахим» (Общество содействия авиационному и химическому строительству), «Долой неграмотность», «Воинствующий безбожник», «Друг детей» и десяток других, всеми средствами «развертывали» свою работу в деревне, вербуя новых членов, созывая собрания, беседы, лекции, читки, митинги. Производилась вербовка в партию, в комсомол, созывались женские делегатские собрания, крестьянских детей зазывали в пионеры и т. д. и т. д. В общем, осень и зима в деревне проходили в ежедневных сходках, заседаниях, митингах, державших мужика в постоянном напряжении. У крестьянина иной раз не было времени выполнить неотложную работу и голова была так забита всеми кампаниями, что он переставал соображать, как, что, к чему и почему...

Однако к началу полевых работ политическая горячка прекращалась. Оставалось провести только контрактацию, т. е. по-просту говоря, продать государству еще не посеянный хлеб. Оглушенный политической трескотней, мужик подписывал и этот кабальный договор, и затем в поле, на чистом воздухе за сохой мог свободно размышлять, как его крепко за зиму „окрутили“, тяжело вздыхать и сокрушенно качать головой...

Одним решением бедняцкого собрания дело не ограничивалось. Собирался общий деревенский

сход, на котором предлагалось утвердить постановление бедноты. Решение общего собрания имело уже юридическую силу. После голосования мужику ничего не оставалось, как платить все, что в постановлении записано. „На заре туманной юности“ советская власть еще придерживалась видимости юрисдикции и отбирала у крестьянина хлеб не просто сналаета, но „с чувством, с толком, с расстановкой“, соблюдая какие-то формальности.

Общие собрания были бурные, напряженные, Никакого «подъема» здесь не заметил бы и самый пристрастный наблюдатель. Иногда прорывались стихийные возмущения, крестьяне бешено ругались, женщины плакали. Нужно было уметь сдерживать порывы толпы, увещевать резонно и убедительно. Бедняки на этих собраниях, как-то ступшеывались и только несмело убеждали односельчан: „Как быть, ежели власти требуют?“ „Не наша власть, не наша воля“. «Ежели закон требует, должен кто-нибудь пострадать»...

Некоторые уполномоченные действовали просто: выкладывали на стол наган и заявляли:

— Кто против советской власти? Нет? Принято единогласно! Секретарь запиши в протокол...

Таковыми и подобными им методами, достигалась столь желанная для центральных организаций „единогласное одобрение мудрой большевистской политики на селе.“ Иногда приходилось собирать крестьян три-четыре вечера подряд, чтобы добиться нужного решения. Но, повторяю, эта «демократия» соблюдалась только в первые годы после НЭП-а. Впоследствии большевики отбросили подобные несовершенные методы и великолепно обходились без общедеревенских «приговоров».

...Я выполнил обещание и пригласил к себе Кузнецова. Он примчался на легкой изящной двуколке", на прекрасной гнёдой "чистокровке". Поздо-

ровавшись, я просил присутствующих оставить нас вдвоем и сообщил Кузнецову цифры „обложения”.

Видите, я действую прямо, как и обещал. Зада-ние большое, но мужики настаивали на этих цифрах.

— Хорошо, я выполняю,—просто ответил мель-ник.—Но представляете ли вы, что это означает?

— Представляю: будет очень тяжело!

— Нет, не то... Сено у меня есть, все равно я его продаю, хотя разница, сами понимаете, ощути-тельная: или гроши получить, или хорошие деньги. Хлеб найду, деньги соберу. Но где я возьму под-воды? Ведь нужно не менее 60 подвод, чтобы вы-везти такую уйму сена до районного центра.

— Наймите у крестьян.

— Хорошо, найму! А знаете ли вы что за подводы я должен уплатить дорожке, чем получу от государ-ства за сено? Знаете ли вы, что за 200 пудов хлеба которые придется у мужиков купить, я должен буду заплатить в 5 или 6 раз дорожке, чем получу на сдаточном пункте? А еще 2000 рублей займа? Да ведь это не все! Знаю, что будут дополнитель-ные задания. Ведь это же полный разор! Ну, хо-рошо, нынче у меня отберут все, а кто будет пла-тить в следующем году? Разорите сегодня всех зажиточных крестьян, середняков сведете к бедня-кам, а завтра кто хлеб даст? Как говорится в од-ном вульгарном анекдоте — где же логика?

— Это дело правительства.

— Да правительство-то ведь „народное“! Дол-жно же оно понимать, что делает, если желает быть действительно народным! Я понимаю расчет на коллективные хозяйства, но еще далеко кули-ку до Петрова дня. Да и практикой коллективные хозяйства не проверены. Какова будет еще их про-дуктивность?

— Да что же вас так заботит будущее? Вы же сами говорили, что уверены, что все потеряете. Чего же вам гадать о предстоящем?

— Вот теперь я вас не понимаю: я же, прежде всего, русский человек и меня, естественно, интересует судьба моей родины. Это ваш поэт Безыменский заявляет: «В первую очередь я — член партии...» А я в первую очередь человек и человек русский, как и вы... Если бы я был уверен, что все мое добро пойдет на пользу родине, — ей Богу, слова бы против не сказал! Но куда, куда теперь берут мужицкий пот и кровь за бесценок, или совсем бесплатно?

— Вы же знаете куда идет: рабочим, служащим, для армии...

— Все это хорошо для агитации! Я не верю в это. Здоровый товарооборот в стране даст все необходимое рабочему и крестьянину. А что же у нас? Для крестьянина — нет ничего, для рабочего тоже. В деревне нет товаров, в городе продуктов! За какихнибудь два года после НЭП'а все исчезло. Где же обилие нашей матушки-земли, которым испокон веков гордилась Россия? Куда все пошло?

— Простите, Федор Платонович, мы уклоняемся от темы нашего разговора, — сказал я. Ответить на его вопросы я не мог.

— Да, извините, видно стар становлюсь, на болтовню тянет...

— Нет, почему не поговорить! — Но вы затрагиваете такие вопросы...

— Вопросы прямые и резкие, такие вопросы, которые сейчас у каждого на уме, но нет на них ответа. — Кузнецов встал со стула. — Вот вы, — молодой человек. Есть у вас что-нибудь любимое, близкое. Девушка, например. И вы видите, что ей больно делают, мучают ее. Что вы чувствуете? Не возникнет ли у вас желание помочь ей, отом-

стить оскорбителям? Рыцарей сейчас нет, но честь, душа, любовь существуют? Ведь чувства никакими планами не регламентируешь! Нельзя представить, чтобы начали проводить какие-нибудь честезаготовки, или заготовку любви... Мне иной раз просто физически больно, когда вижу, как обижают мужика. И без того наш народ много и глубоко страдал. И вот я, недоучившийся юрист, решил хоть немного помочь народу, облегчить его долю. Принял от отца дело, расширил мельницу, построил дороги, помог школу и церковь соорудить, толковал законы крестьянам, газеты и книги для них выписывал... И что же? Теперь я — классовый враг, кулак! Обидно, больно, тяжело!.. Я — враг моего народа? Я, у которого десятка два крестников среди окружающих крестьян? И кто меня врагом объявил? Почему?..

Кузнецов снова опустился на стул и было видно, что ему действительно больно и тяжело. У меня невольно шевельнулось в душе какое-то сочувствие к этому богатырю. Он вообще не укладывался в предписанные нам нормы поведения классового врага. По советскому талмуду классовый враг груб, невежествен, хитер, коварен, кровоопийца, эксплуататор, убийца... Ни одно из этих определений не подходило к Кузнецову.

— Я часто думаю: может быть ты не прав, Федор! Может быть то, что делается — действительно правильный путь, единственно верный метод для народного благополучия. Может быть и тебе по пути с этим новым... Но нет!.. Нет! Если бы это было так, — сердце бы мне подсказало и я пошел бы в ногу, стал бы ворочать сплеча, работать до истощения... Но это не то... Добрые дела так не делаются...

Что мог я посоветовать, чем помочь этому мятущемуся человеку? Я был сам молод, полон

светлых надежд и слепо верил, что приношу сильную пользу своей земле и народу,

Мы расстались с Кузнецовым не надолго. Веком из района поступило указание обложить дополнительными индивидуальными заданиями кулацкую часть деревни. В списке был и Кузнецов. Для этой процедуры не требовалось никаких формальностей вроде бедняцких и общих собраний. Крестьянина вызывали, объявляли ему решение районных организаций, предлагали расписаться в том, что к такому то сроку он обязан сдать столько-то и таких-то продуктов. Цифры были заведомо высоки. Крестьянин, естественно, не выполнял задания. Тогда приезжали представители милиции, судебный исполнитель. Крестьянина с плачущей женой и детишками выводили из дому с узелками самых необходимых вещей, усаживали на телегу и увозили навсегда из деревни той дорогой, по которой позже пошли миллионы „врагов советской власти“...

Я понял, что наступил конец, который Кузнецов ожидал. Вызвав его, я сообщил приказание из района. Увидев цифры, он опустил плечи, вздохнул тяжело и сказал:

— Ну, вот и конец...

— Почему же конец?

— Я не смогу сдать всего.

— Продайте мельницу,

— Ах, вы даже не знаете, что я не имею права продать ее?

— Почему не имеете права?

— Да меня уже давно вызывали в район и предупредили, что продажа мельницы будет расцениваться, как попытка нарушить нормальную жизнь деревни. «Мельница должна работать нормально и круглые сутки», — сказали мне в районе: «Иначе мы будем вас судить», — добавили они. И все

мое имущество уже заранее описано. Так что о продаже не может быть и речи...

— Что же вы думаете делать?

— Готовиться к отправке... сами знаете куда. Видели в газете новый лозунг: «Ликвидация кулачества, как класса». Стало-быть надо «ликвидироваться»... Спасибо что сообщили своевременно. Завтра поеду в Пермь. Надо детей устроить. Пускай пока учатся... Очевидно и до них скоро доберутся, исключат из школы, как кулацких детей. Ну, давайте, подпишу...

Он подписал копию приказа.

— Любопытно,—заметил он с веселой улыбкой, так не вязавшейся с его положением,—любопытно: «Государственного добровольного займа 5.000 рублей»... Добровольного займа — в принудительном порядке!... Курьез!... Назидательный пример для будущих защитников прав... Ну, прощайте! Не помните лихом. Буду надеяться, что я неправ, и вы идете по верному пути!..

3.

Кузнецов еще не возвратился из поездки к детям, когда на мельницу нагрянуло районное начальство. Было проверено имущество по заранее составленной описи. Все было в порядке и сохранности. Старый мельник спокойно и деловито показал все имущество, кладовые, запасы. Приезжих особенно интересовало золото: сколько его, где лежит. Старик ответил, что золота нет, а одни золотые часы и столовое серебро предъявил. Это было дополнительно внесено в опись. Но начальство не поверило так быстро. Уполномоченный районного отдела завел старика в отдельную комнату и там „поприжал его немного“, как он потом с улыбкой докладывал в райкоме партии. Но старик был крепок, и никакого золота больше не нашли,

несмотря на тщательный обыск. После «допроса» в отдельной комнате старый мельник сильно осунулся и руки его дрожали. Начальство весело шутило, перерывая перины на кроватях, пытаясь заигрывать с красавицей женой молодого мельника, но та упорно молчала и неподвижно сидела в кухне у стола во время всей процедуры. На ее просьбу подождать возвращения мужа начальник районной милиции галантно ответил:

— Не беспокойтесь, мужа мы вам позже доставим.... Да и для чего он вам, когда здесь так много интересных мужчин?...

На тяжеловесную шутку красавица только сердито повела своими прекрасными глазами, и начальник проглотил улыбку.

Когда старого мельника с невесткой выводили «на погрузку», произошел еще один инцидент: старик споткнулся; один из милиционеров быстро бросился к нему — не то поддержать, не то заподозрев попытку к побегу. Заметив это, громадная собака-волкодав с рычанием бросилась на милиционера. Тот испугался, выхватил наган и пристрелил красивого и умного зверя. Собака взвизгнула, подскочила и грохнулась на-земь, истекая кровью. Старый мельник устало махнул рукой и только сказал:

— Собаку-то за что?..

Мельница временно была закрыта. В доме оставались двое милиционеров — дежурить до возвращения Кузнецова и доставить его в район. Помогать им добровольно вызвался Степан Терехин, тот самый, который руководил бедняцким собранием в Медведевке. Он считался активистом и действительно участвовал во всей «политике». Как понятый, участвовал от деревни долговязый Прохор Куинин. Он мне и рассказал о происшествии на мельнице.

Поздно ночью, через два дня после этих событий, меня разбудили криком:

— Мельница горит!

Я вскочил и посмотрел в окно; над лесом действительно стояло большое зарево. Я распорядился будить мужиков и подымать на ноги пожарную команду. Пока шла обычная суетня и ругань, группа крестьян с топорами и лопатами бросилась в лес, чтобы поспеть раньше, т.к. все знали «быстроту» пожарной команды. К этой группе присоединился и я. Однако было поздно: громадная мельница и дом со всеми постройками пылали гигантским костром. Подступить к огню было невозможно: за 30 сажень от зданий было так жарко, что начинала тлеть одежда. Прискакавшие через час «пожарные», могли только любоваться величественным зрелищем, да слушать, как шипят падающие в воду огромные головни.

Деревья вокруг зданий обуглились. Начинали загораться ветки. Змейки пламени перебрасывались с дерева на дерево. Начинался лесной пожар. С соседних деревень с криком и шумом сбегался народ. Начали валить деревья, копать канавы.

К утру на месте мельницы и дома лежали дымящиеся груды углей, торчали обгорелые кирпичные кладки... Лесной пожар удалось преодолеть, и крестьяне с почерневшими лицами, в порванной и прожженной одежде расходились по домам.

Печальное зрелище представляло пепелище, на месте которого еще вчера стояли прочные строения, бурлила кипучая мельничная жизнь!..

В огне погиб Степан Терехин. Двое дежурных милиционеров оказались подозрительно невредимыми. Они явились на пожар полупьяными и уверяли всех, что выскочили из горящего дома.

Пожар, по их словам, возник от сильно раскаленной печи. Почему же загорелась мельница, стоявшая в некотором отдалении от дома? Милиционеры ответить не могли. Решили, что огонь перебросился на мельницу по деревьям.

Мужики знали больше, но помалкивали. Им было известно, что милиционеры в эту ночь были в Медведевке и спали пьяным сном в избе приветливой деревенской шинкарки Матрены. Насилу их разбудили уже во время пожара.

Началось следствие. Особенно тщательно допрашивали Федора Кузнецова, который через несколько дней сам явился в район. Но он представил доказательства, что был все время в Перми у детей. Несмотря на подозрительность начальства, пришлось с него снять обвинение, т. к. его доказательства были неопровержимы. Медведевцы же односложно отвечали на все вопросы следователя:

— Не можем знать! Мы спали и не ведали, что на мельнице творится. Закричали: „Пожар“ — мы побежали заливать, а там — куда тут заливать! — огонь столбом и лес горит. Около мельницы никого не видали и кто поджег — сказать не можем...

Бились, бились следователи, так и не нашли поджигателя. Пришлось принять версию милиционеров. Так и записали; пожар «возник вследствие неосторожного обращения с отопительными приборами.»

4.

Года через два мне пришлось проезжать через Тетерино, и я решил навестить знакомого возницу Кузьму Бурмышева.

Кузьма Иванович, теперь колхозник сельскохозяйственной артели «Рассвет», сидел перед лавкой у окна и починял хомут. В избе было чисто и

светло, стол в переднем углу накрыт клеенкой, полки с горшками и чашками украшены вырезанными из газет узорами, на стене под зеркалом — расписное полотенце.

Бросилось в глаза отсутствие икон. Зато на стенке слева висел портрет Ленина.

Бурмышев сначала не узнал меня, но потом радушно воскликнул:

— А, сынок! Проходи, садись — гостем будешь! А я, видишь, все еще помаленьку прыгаю... Давно бы надо следом за старухой податься, да не берет Бог за грехи...

— Не забыл еще своей старухи?

— Невозможно, никак невозможно, сынок, забыть... Вот теперь и баба в дому, а все не то, что старуха была!

— То-то, я смотрю, у тебя в избе порядок. Думаю, уж не ты ли снова женился...

— Нет, то сына женил, принял стало — быть в дом бабу. Знаешь, может, Лукиных дочь из Медведевки?

— Это каких Лукиных? Помню, был в Медведевке богатый мужик, Лукин. Не его ли дочь?

— Его самого... Только его уж там нет... Он, ведь, в Сибирь сослан. Добро все взяли, а его с семьей туда отправили. А мой-то Петро был как бы с Анной полюбовником. Из Сибири она к нему и приехала, тут и венчались.

— Ну и как: хорошая невестка?

— Худого не скажу: работающая, добрая баба и меня, старика, уважает. Все, как у людей...

— Я заметил, у тебя икон нет. Ты что же, в безбожники записался?

— Не то, сынок, не то... Поветрия такая пошла. Этой мой младший, Семен, в комсомол поступил и как у них Бог, стало быть, запрещен, то он потребовал иконы снять. «Стыдно, говорит, от

людей: комсомолец, а в избе иконы». Ну, поругался я, погневался, да думаю: что будешь делать? Куда пойдешь, кому скажешь? Бог у меня тут, в душе живет, а помолиться и на восход можно... Снял иконы и в клеть сложил. Молодо-зелено! Придет пора, и сами Бога призовут. Заставит жизнь глаза луковкой потереть, и Бога вспомнят... А мне что: у меня Бог не на божнице, а во мне...

— Ну, а как работает колхоз?

— Да так, работает... Не пахут, так сеют, не сеют, так жнут... Я все коло коней, вроде как конюхом состою. И моя Сивка-бурка там... Живем понемногу...

— Где же лучше, Кузьма Иванович: в колхозе или единолично?

— Скажу тебе, сынок, так: птица летает и кормится, чем Бог пошлет. Посади в клетку, — тоже жить будет, а питаться, что люди дадут... Спроси птицу, где ей слаще. Может, которая и скажет, что в клетке лучше, да я ей не поверю.

Несмотря на принадлежность к колхозу, старик был ярый единоличник. Он мне рассказал о беспорядках в колхозе, о том, что там всегда чего-нибудь нехватает, о злоупотреблениях членов правления. Урожай на колхозном поле оказался ниже, чем был в единоличных хозяйствах, а при дележке получили совсем крохи. За год сменилось два председателя, а порядка все нет.

— Ничего, все наладится, и Москва не сразу строилась, — попытался я утешить старика.

— Может, и наладится, — согласился Бурмышев, почесывая бороду. — Только мужики не верят, что облегчение выйдет. Ты на деревню посмотри: половина домов заколочена. Куда народ подевался? Пошто мужик с земли ушел? В каких краях правду ищет? Нету своей земли у крестьянина — и крестьянина, стало — быть, нету... Был я в мо-

лодых годах батрак, по богатым ходил на работу. Что у меня было? Грош в кармане да вошь на аркане, шапку в охапку да и пошел. Робил, копейку копил, избу построил, землю получил, лошадь, корову купил, семью поднял, думал-мечтал под старость покой получить, ан не туда вышло: снова гол, как сокол, снова батрак на своей-то земле...

Подобные рассуждения я слышал от многих мужиков. По большевицким определениям они именовались «пережитком капитализма в сознании людей». Дискуссии на эту тему вести с крестьянами было совершенно бесцельно: они глубокие практики и совершенно не интересуются никакими революционными движениями в Новой Зеландии и Перу. Круг их интересов — земля, деревня, семья.

Я постарался сменить тему. Речь зашла об общем знакомом, Кузнецове.

— Кто-же поджег тогда мельницу? — спросил я у Бурмышева.

— Кто его знает... — уклончиво ответил Кузьма Иванович. — Разное люди болтают...

— Дело-то прошлое, а что прошло, то бывшем поросло. Расскажи, как было. Мне Федор Платоныч очень нравился, и я хочу узнать всю историю до конца.

— Рассказать можно, все одно в деревне уж знают. Вот слушай: то сам Федор Платоныч поджег и Степана Терехина он убил...

— Не может быть! — удивился я. — Не могу поверить, чтобы Кузнецов человека убил. Да-ведь он в ту ночь в Перми был.

— А ты слушай...

И он рассказал следующее.

Кузнецова томило какое-то неясное предчувствие беды. Выйдя из квартиры, где жили дети, он направился к станции. В это время подходил поезд. Почти не отдавая себе отчета, он прыгнул на

ходу в вагон, сунул проводнику несколько рублей и проехал до станции, расположенной в 25 верстах от мельницы. Кузнецову незачем было делать такой крюк: выросший в лесу, он знал другой путь напрямик, без всякой тропинки. С глухого полустанка лесом до мельницы было не более 8-9 верст. Никем не замеченный, он шагал по темному бору, руководствуясь привычным чутьем да звездами.

А в его доме в это время двое милиционеров и Терехин от скуки играли в дурака. Кому-то из них пришлось в голову поискать хмельного. Поиски были удачны, и компания вскоре была навеселе. Опорожнив несколько бутылок водки, дежурные решили, что Кузнецов не придет и в эту ночь. Что-же зря торчать здесь, если можно провести время в веселом месте при дамском обществе?

Не долго размышляя, милиционеры вскочили верхом на коней и ускакали в Медведевку, к подпольной шинкарке, которую они покрывали перед законом, и потому всегда были желанными гостями.

В доме Кузнецова остался один пьяный Терехин. Он вскоре заснул, растянувшись тут-же на лавке около стола, за которым шел пир.

Кузнецов вспотел от быстрой ходьбы и нервного возбуждения. Уже издали он понял, что дома неладно: он не слышал шума работающей мельницы. Удивило его и то, что верная собака не выбежала навстречу, не залаяла. Кинулся к окну, в котором мерцал свет. Бутылки и стаканы на столе. В доме тишина.

Сердце усиленно билось, в висках стучало. Как пьяный, он переступил порог своего дома. Никого. Он чиркал спички и при их мерцании видел разворешенные постели, разбросанные книги и бумаги — следы обыска. Где жена, отец?

Он бросился в кухню и встряхнул пьяного непрошенного гостя. Тот очумело поднялся, отирая рукавом вытекшую от сладкого сна струйку слюны и моргая мутными, непонимающими глазами.

— Где отец и жена? — глухо спросил Кузнецов.

Терехин немного очухался и испугался.

— Их в район вызвали, приезжали из исполкома, — заикаясь ответил он.

— А ты что тут делаешь?

— Да, можно сказать, домовничать остался... Попросил Платон Иванович, дескать, погляди, Степан, за хозяйством...

— То-то ты и домовничаешь, как я вижу — криво усмехнулся Кузнецов. — Скажи по правде: взяли их?

— Взяли, Федор Платоныч...

— Расскажи, — глухо попросил Кузнецов.

Путаясь и привирая, Терехин рассказал о происшедшем. Кузнецов слушал, сжав зубы и тяжело дыша. Скрипнув зубами и застонав от боли, он уронил голову на стол и без слез, беззвучно заплакал.

— Может выпьешь, пройдет, — посоветывал Терехин, и налил в два стакана водку. Кузнецов залпом выпил стакан, налил другой, выпил. Выпил и Терехин и осмелел, видя бессильного великана. Начал хвастать, как его пригласило начальство, как доверило ему присмотреть за мельницей и хозяйством, как „сам уполномоченный, товарищ Носов, руку пожал и пожелал успеха...“ Кузнецов слушал, не перебивая, пьяную болтовню и думал свою тяжелую думу. Он сразу опустил плечи, постарел, и морщины усталости легли на лицо.

Терехин еще налил водки. Очевидно, ему было приятно видеть сломленным этого богатыря и, уже совсем забыв недавний страх, он решил по-

больнее уколоть раненого в сердце человека, которому он всегда завидовал.

— А жинка у тебя хорошая, — сказал он, хитро отводя глаза.

— Что-ж именно? — спросил Кузнецов.

— А так, к слову, можно сказать, пришлось... Товарищ уполномоченный ее допрашивал один-на-один... После мне говорит: „Эх, Степан, скажу тебе, баба — первой статьи, все на месте и, можно сказать, горячая, как печка“...

— Ну?.. — выдохнул Кузнецов.

— Да что говорить?.. Побаловались мы тут с ней малость... Сам знаешь, баба всегда будет бабой: тоже хоть и муж добрый, а свежинки отведасть хочется...

Кузнецов сжался, плечи его сразу опустились, лицо посерело, и он не мигая смотрел на Терехина.

— Ты?... — коротко спросил он.

Терехин, ехидно ухмыляясь, как бы виновато развел руками:

— И я, можно сказать... Сам понимаешь, баба твоя — кровь с молоком...

Не успел он закончить, как Кузнецов пружиной прыгнул с лавки и со всего плеча ударил Терехина по виску. Тот только ахнул и свалился, как сноп, под стол.

Кузнецов дрожал и зубы его выбивали дробь: «Мало того, что разорили, ограбили, ссылают как преступника, да еще и обесчестили, над женой надругались, старика-отца пытали!.. Эх, коли так, — пропадай все!.. Если страдать, так за дело, по заслугам!...»

Он пошел в кладовую и принес громадную бутыль керосина, — весь занас на долгую зиму, и начал поливать им пол, стены, мебель... Кровь горела в нем, требовала мести Дрожащими руками

чиркнул спичку. Керосин вспыхнул и пламя начало бешеный танец. Схватив остальной керосин, Кузнецов бросился на мельницу. Мельница была закрыта, но он знал все ходы. Иеистовство охватило его: он поливал все углы, разбил уже пустую бутыль, прѣнес остатки сена, которым кормили лошадей помольцы, и снова пустил красного петуха гулять по родным строениям.

Дом уже пылал, освещая таежную темь. Кузнецов стоял без шапки, в распахнутой куртке, сумасшедшими глазами смотрел на пламя, пожиравшее его родной дом, и какое-то дикое первобытное чувство и больно и сладко давило сердце.

Неожиданно на дорогу вылетела упряжка и круто остановилась. Из телеги выскочил испуганный и всклокоченный долговязый Прохор Кучин. Он ездил по своим делам в соседнее село и только теперь возвращался домой.

— Федор Платоныч! — бросился он к Кузнецову. — Что тут творится? Кто мельницу поджег?

— Я, коротко бросил Кузнецов.

— Христос с тобой, да ты в своем ли уме? Надо мужиков собирать, тушить пожар!... Я сейчас, скоренько погоню...

— Не надо, — остановил Кузнецов. — Пускай горит, пускай пропадает!...

— Да ты и впрямь рехнулся? Да ведь за такое дело тебе смерть, али не знаешь?

— Знаю, для того и зажег...

— Ах, Боже мой, Боже мой!.. Что с тобой стало? Зачем ты себя не жалеешь? Хотя бы семью пожалел!...

— Все пропало, — устало говорил Кузнецов. — Все отобрали, жену обесчестили, отца пытали...

— Как жену обесчестил? Кто тебе такое слово сказал? Да Марья Федоровна слова ни с кем не сказала, только просила тебя подождать. Никто

ее пальцем не задел, не то чтобы что!.. И ждет тебя в районе, чтобы, значит, вместе ехать.. Я знаю, я понятным был, когда у тебя опись делали.

Кучин рассказал, как все было на самом деле. Кузнецов знал Прохора, как прямого и правдивого человека, помогал ему в свое время и не мог не поверить. Он, в свою очередь передал то, что наговорил ему пьяный Терехин. Кучин возмутился:

— Ах, язви его в душу, подлюга, сума переметная!... Да он, — слушай его, — такое нагородит, только уши подставляй!.. Не верь ты ему, христопродавцу!.. Беги теперь, уходи, за ради Бога!.. Не губи ты себя, Федор Платоныч!.. В ночь приехал, в ночь и уезжай в Пермь, и никто тебя не видал, не слышал!.. А я поеду шибко, мужиков соберу пожар тушить...

Тем же волчьим путем бежал Кузнецов на полустанок. Значит, еще не все пропало, значит цела семья, можно еще жить, можно снова за работу приняться!..

Есть еще надежда, есть еще какая-то, пусть подневольная, свобода... А все остальное придет!.. Только бы не попасть им в руки!..

На полустанке он вскочил в товарный поезд и еще затемно приехал в Пермь. Тихо прошел в комнату, разделся и немного погодя постучал к соседям:

— Простите, рано побеспокоил! Закурить захотелось, а спичек нет.

Сосед дал ему спички.

— Вот и хорошо, что разбудили. Надо рано вставать, сегодня в первую смену на работу...

Свидетели были обеспечены: кому в голову придет, что он за ночь сумел слетать за сотню верст и поджечь мельницу?

Через два дня он сам явился в район. Свидетельскими показаниями была установлена его непричастность к поджогу.

— ...Так-то, сынок, и сгорела мельница. Добрая мельница, на четыре постава... Мука, что твоя крупчатка, — добавил Бурмышев.

— Не знаешь, где сейчас Кузнецов? — спросил я, заинтересованный рассказом.

— Не знаю! Увезли их всей семьей, куда-то на Дальний Восток, и на том след простыл. Хороший был человек Федор Платоныч, дай Бог здоровья, а ежели умер от болести али от злых людей, царство ему небесное и земля пухом! — закончил Кузьма Иванович, набивая махоркой и раскуривая свою трубку-носогрейку.

Октябрь — декабрь 1946 г.



W. Zielaskewitsch - E. Schmitt

Bücher - Journale - Zeitschriften

MÜNCHEN 27 - Bogenhausen, Roentgenstr.